



ЛИГИН

Ключевский-журналист

Поглощенный научными исследованиями и университетским преподаванием, покойный В. Ключевский не мог, конечно, уделять много времени публицистическому труду. Его огромное дарование сумело бы ярко себя проявить и на этом поприще духовной деятельности. Но в тихом убежище исследователя он находил большое обаяние, в нем рассчитывал он значительно развить свои силы, чем в взбаламучённом море русской жизни. И все-таки уйти от русской действительности, целиком выросшей из того прошлого, которое оживало под его пером, он не мог. Вопросы, волновавшие современников, тысячью нитей оказывались связанными с позабытыми отношениями, в которых он умел разобраться, как никто. Новые всплывавшие подробности оказывались не новыми, глашатаи нашего времени имели предтеч, о которых он рассказывал с той художественной увлекательностью, которую небо дарует только своим особо излюбленным сынам. О нем можно сказать то же, что он писал об одном из своих предшественников в Московском университете. От русской действительности и ему «невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими требованиями». И когда эти требования подступали к нему, В. Ключевский из ученого превращался в журналиста. Или нет, — это не верно. Он не переставал быть, конечно, ученым, но он мог становиться, кроме того, и публицистом. В свои статьи он приносил свои знания, свою осторожность умудренного долгим научным опытом исследователя, свое ясное, во всем продуманное суждение.

Публицистические статьи В. Ключевского украшали не раз столбцы «Русских ведомостей». Он откликался на вопросы, важные для Москвы, когда их правильному разрешению мешало отсутствие

достаточного исторического знания. Он посвящал характеристики деятелям нашего прошлого, которые и нынешнему поколению звучали вдохновенным поучением. Некоторые примеры невольно вспоминаются теперь.

В начале 80-х годов в Москве была задумана перестройка торговых рядов в Китай-Городе, и перед городской думой встал вопрос, кому принадлежит земля под городскими рядами на Красной площади. Дума в феврале 1885 года рассмотрела доклад своей комиссии и признала вопрос этот «достаточно разрешенным в том смысле, что землю под лавками следует считать принадлежащей лавковладельцам, а под проходами между рядами — городу». Вопрос представлял для города огромную важность и был в то же время крайне сложен. Для разрешения его необходимо было пересмотреть исторический материал, страдавший значительными пробелами, необходимо было с бесстрашием и с чуткой справедливостью отнестись к интересам обеих сторон и принять в то же время все меры к тому, чтобы спасти общественное достояние, если оно действительно было общественным. В. Ключевский взялся за разрешение этого вопроса. 9 мая 1887 года он опубликовал свое исследование в «Русских ведомостях»¹.

«Не берусь судить, — формулирует он свои выводы, — в какой степени собранные мною исторические справки оправдывают основанные на них выводы, а эти выводы следующие. Законодательство ни в XVII, ни в прошлом, ни в текущем столетии не передавало земли под торговыми рядами ни во владение города, ни в частную собственность лавковладельцев». Но отрицая существование права частной собственности на эту землю, он в то же время стремился преподать совет, по возможности ограждавший все законные интересы, тесно связанные со спорным вопросом.

Почти двадцать лет спустя, 8 октября 1905 года, В. Ключевский помещает в «Русских ведомостях» свою последнюю статью, с неизменившим ему блеском написанные строки: «Памяти Т. Н. Грановского». Цитировать покойного мастера почти мучительно, вырывать отдельные строки из органического целого его творений кажется кощунственным. Хотелось бы слово за слово передать все, что он писал. Но газетные столбцы имеют свои тесные границы.

Вот выдержки из характеристики Грановского², написанной по поводу истечения 50-летия со дня его смерти.

«Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, — ту веру, которая светит им среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции

Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все тяготы преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обоих стала старозаветной традицией. *Наш университет, наш Грановский*, — эти слова стали привычными выражениями в Москве того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни»³.

И далее:

«Грановский смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагоделят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чуввшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно-прямо, возвышенно и художественно он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу в деятелях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить его общение со студентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть ли не тайным революционером, а после его всколыхнувших московское общество публичных курсов позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности

Грановского все более ценившие казенные руки уловить и задушить были бессильны»⁴.

... «Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин⁵, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему; С. М. Соловьев, веривший, что возрастающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах; Чичерин, в 60-х годах предпочитавший “честное самодержавие несостоятельному правительству”, а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли; и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах»⁶. Это сказано о Грановском. Но не писал ли Ключевский невольно о себе? Разве тот, кто прочувствовал и написал эти строки, мог не быть «обманут в своих надеждах», разве мог он уйти от нас иначе, как «с той же печатью гнев и скорби на сомкнутых устах»?

